

Н. Гоголь

Письма 1848–1852 годов

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Г58

Г58 **Гоголь Н.В.**
Письма 1848–1852 годов / Н. Гоголь – М.: Книга по Требованию, 2023. –
328 с.

ISBN 978-5-4241-1529-5

ISBN 978-5-4241-1529-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
«Книга по Требованию», 2023
© Н.В. Гоголь, 2023

Николай Васильевич Гоголь
ПИСЬМА 1848–1852 ГОДОВ

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Неаполь. 1848. Генварь 10/1847. Декабр<ь>29

Винovat перед тобой, душа моя! Всякий день собираюсь писать — и непо-стижимая неохота удерживает. Перед мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе. Но что рассказы-вать об этом! Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом искусстве, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник. Так как теперь предстоит мне путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи — здесь. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благо-госклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что прежде, чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а всё прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное попри-ще есть тоже служба. Еще я не давал себе отчета (да и мог ли тогда его дать?), что должно быть предметом [предметом пера] моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Всё совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произ-воления. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, еще бывши в школе, чувство-вал я временами расположење к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естествен-ность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоя-тельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее [его] боятся, стало быть, ее не следует тратить непустому». Я решился собрать всё дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться — вот происхождение «Ре-визора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести

доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желание осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представление «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединения и обдумания строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль большого сочинения, в котором бы предстало всё, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами виднейшее свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал порою много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки, — а способность творить всё не возвращалась. От напряженной болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мертвых душ», как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состояния, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, [обратили опять к тому] к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюдению внутреннему [В подлиннике: внутреннему] над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем, который один из всех, доселе бывших на земле, показал в себе полное познание души человеческой; божественность которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. [что есть высшие степени ее и явления] С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилел [крепок] и звучен, а слог окрепнет. И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно вслед за твоей, примолвивши: [сказа<вши>] «Оба писателя [В подлиннике: писатели] правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, [Книга «Переписка с друзьями», которую (от радости, что расписалось перо) я так поспешил выдать в свет] не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. [был мне самому очень <полезен>] На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состояния общества, попадает почти всякий идущий вперед

человек. Несмотря на пристрастие суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен преступать. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде, как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет всё невпопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен [не заключен] в тебе самом идеал ему противоположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостойнство человеческое, если не задал [не заключил] самому себе запроса: в чем же достоинство человека? и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исключенья, если еще не узнал хорошо [вполне] те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить на место его новый. Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена создания, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, [и в древние <времена>] когда всё было невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сих пор понятие общества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное создание искусства имеет в себе что-то успокоивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движенье негодованья противу брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще [И вообще после] не устремляешься на порицанье действий другого, но на созерцанье самого себя. Если же создание поэта не имеет в себе этого свинства, то оно есть один только благородный, горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно останется, как примечательное явление, но не назовется созданием искусства. Поделом! Искусство есть примиренье с жизнью! Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиваться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы [так, чтобы] каждый почувствовал их и в себе самом и загорелся бы желаньем развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить всё омрачающее благородство природы нашей. Тогда только и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество!

Итак, благословясь и помолясь, обратимся же сильней, чем когда-либо

прежде, к нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши всё прочее на будущее время (когда бог удостоит быть достойным сколько-нибудь того), хочу заняться крепко «Мерт<выми> душами». Съезжу в Иерусалим (чего стало даже и совестно не сделать), поблагодарю как сумею за всё бывшее. Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, [силы на] и с богом за дело. Очень, очень бы хотелось, чтобы привел бог нам опять пожить вместе, в Москве, [в Москве или] вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще больше нужно, чем прежде. Затем от всей души поздравляю тебя с новым годом. Дай бог, чтоб был он нам обоим очень, очень плодотворен, плодотворнее всех прошедших. Прощай, мой родной! Целую тебя и обнимаю крепко. Пиши ко мне. Твое письмо еще застанет меня в Неаполе. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю всё твое милое семейство вместе с Рейтернами.

Твой Г.

Если письмо это найдешь не без достоинств<ва>, то побереги его. Его можно будет при втором издании «Переписки» поставить впереди книги на место [впереди, вместо] «Завещания», имеющего выброситься, а заглавье дать ему: «Искусство есть примирение с жизнью».

Всё хочу спросить и всё забываю: есть ли у тебя латинский надстрочный перевод «Одиссеи», напечатанный недавно в Париже вместе с подлинником. Весьма красивое издание. Весь Гомер в одном томе, в большую осьмушку. Editore Ambrosio Firmin Didot. Parisiis. 1846. Мне он показал<ся> весьма удовлетворительным и для тебя полезнейшим прочим.

Адрес мой: в Неаполь, poste restante, или, еще лучше, в hôtel de Rome, а чтобы не попало письмо в город Рим, слово Неаполь нужно выставить позаметней.

На обороте: Francfort sur Main.

Son excellence monsieur Basile de Joukowsky.

Васил<и>ю Андреевичу Жук<овскому>.

Francfort s/M. Sachsenhausen.

Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

М. А. КОНСТАНТИНОВСКОМУ

Неаполь. Генваря 12 дня <н. ст.> 1848 г

Благодарю вас много за бесценные ваши строки. Прочитал несколько раз ваше письмо. Прочитаю потом еще в минуты других расположений душевных. Смысл нам не вдруг открывается, а потому нужно повторять чтение того, что относится до души нашей. Я верю, что вы молились обо мне и просили у бога вразумленья сказать мне то, что для меня нужно, а потому, верно, после откроется мне в нем и больше. Хотя и теперь вы сказали много того, за что душа моя будет благодарить вас и в будущей и в здешней жизни. Всё, что говорите вы об учительстве, принял очень к сведению и вследствие этого, разумеется, взглянул пристальнее и на себя и на учительство. Не могу только решить того, действительно ли то дело, которое меня занимает и было предметом моего обдумывания с давних пор, есть учительство. Мне оно кажется только долгом и обязанностию службы, которую я должен был сослужить моему отечеству, как воин, гражданский и всякий другой чиновник, если только он получил для этого способности. Я, точно, моей опрометчивой книгой (которую вы читали) показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства. Но книга эта есть произведение моего переходного душевного состояния, временного, едва освободившегося от болезненного состояния. Опечаленный некоторыми неприятными происшествиями, у нас случающимися, и нехристианским направлением современной литературы, я опрометчиво поспешил с этой нерассудительной книгой и нечувствительно забрел туда, где мне неприлично. А диавол, который <тут> как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было и без умысла учительствовать, что случается всегда с теми, которые понадеются несколько на свои силы и на свою значительность у бога. Дело в том, что книга эта не мой род. Но то, что меня издавна и продолжительнее занимало, это было изобразить в большом сочинении добро и зло, какое есть в нашей русской земле, после которого русские читатели узнали бы лучше свою землю, потому что у нас многие, даже чиновники и должностные, попадают в большие ошибки по случаю незнания коренных свойств русского человека и народного духа нашей земли. Я имел всегда свойства замечать все особенности каждого человека, от малых до больших, и потом изобразить его так перед глазами, что, по уверению моих читателей, что человек, мною изображенный, оставался, как гвоздь, в голове, и образ его так казался жив, что от него трудно было отделаться. Я думаю, что если я, с моим умением живо изображать характеры, узнаю получше многие вещи в России и то, что делается внутри ее, то я введу читателя в большее познание русского человека. А если я сам, по милости божией, проникнусь более познанием долга человека на земле и познанием истины, то от этого нечувствительно и в сочинении моем добрые русские характеры и свойства людей получат привлекательность, а нехорошие — такую непривлекательность, что читатель не возлюбит их даже и в себе самом, если отыщет. Вот как я думал и поэтому узнавал всё, что ни относится до России, узнавал души людей и вообще душу человека, начиная со своей.

Еще я не знал сам, как с этим слажу и как успею, а уже верил, что это будет мне возможно тогда, когда я сам сделаюсь лучшим. Вот в чем я полагаю мое писательство. Итак, учительство ли это? Я хотел представить только читателю

замечательнейшие предметы русские в таком виде, чтобы он сам увидел и решил, что нужно взять ему, и, так сказать, сам бы поучил самого себя. Я не хотел даже выводить нравоучения; мне казалось (если я сам сделаюсь лучше), всё это нечувствительно, мимо меня, выведет сам читатель. Вот вам исповедь моего писательства. Бог ведь, может быть, я в этом неправ, а потому вопрошу себя еще, стану наблюдать за собою, буду молиться. Но, увь! молиться не легко. Как молиться, если бог не захочет? Вижу так много в себе дурного, такую бездну себялюбия и неумения пожертвовать земным небесному. Прежде мне казалось, что я уже возвысился душой, что я значительно стал лучше прежнего, в минуты слез и умилений, которые я ощущал во время чтения святых книг. Мне казалось, что я удостоивался уже милостей божиих, что эти сладкие ощущения есть уже свидетельство, что я стал ближе к небу. Теперь только дивлюсь своей гордости, дивлюсь тому, как бог не поразил меня и не стер с лица земли. О друг мой и самим богом данный мне исповедник! горю от стыда и не знаю, куда деться от несметного множества не подозреваемых во мне прежде слабостей и пороков. И вот вам моя исповедь уже не в писательстве. Исписал бы вам страницы во свидетельстве моего малодушия, суеверия, боязни. Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился его необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку вместить ее в себе, изумился глубокому познанию его души человеческой, чувствуя, что так знать душу человека может только сам творец ее. Вот всё, но веры у меня нет. Хочу верить. И, несмотря на всё это, я дерзаю теперь идти поклониться святому гробу. Этого мало: хочу молиться о всех и всём, что ни есть в русской земле и отечестве нашем. О, помолитесь обо мне, чтобы бог не поразил меня за мое недостойнство и удостоил бы об этом помолиться! Скажите мне: зачем мне, вместо того, чтобы молиться о прощеньи всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасении русской земли, о водвореньи в ней мира, вместо смятения, и любви, вместо ненависти к брату? Зачем я помышляю об этом, вместо того, чтобы оплакивать собственные грехи мои? Зачем мне хочется молиться еще и о том, чтобы бог дал силы мне загладить новым, лучшим делом и подвигом мои прежние худые, даже и в деле писательства? О, молитесь обо мне, добрая душа моя! Молитесь, чтобы бог избавил меня от всякого духа искушения и дал бы мне уразуметь его истинную волю. Молитесь, молитесь крепко обо мне, и бог вам да поможет обо мне молиться! Порученье ваше исполняю, евангелие читаю и благодарю вас за это много.

Уведомьте меня двумя строками, получены ли вами из Петербурга деньги, 100 рублей серебром, на молебны <и> на бедных.

Адресуйте в Константинополь таким образом: A monsieur conseiller de la Mission Russe á Constantinople Jean de Chal-czinsky (Ивану Дмитриевичу Халчинскому) для передачи Николаю Васильевичу Гоголю.

Прощайте. О, если бы бог удостоил меня помолиться крепко о вас в благодарность за ваше благодеяние!